



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Мы готовили уроки, когда вошел директор, а за ним *новичок* в штатском и служитель, который нес большую парту. Задремавшие проснулись, и все вскочили, словно только что оторвались от работы.

Директор знаком велел нам садиться и вполголоса сказал воспитателю:

— Вот, господин Роже, рекомендую вам нового ученика. Он поступает в пятый класс, но, если заслужит своими успехами и поведением, перейдет в *старшие*, как ему подобает по возрасту.

Новичок стоял в уголке за дверью, так что нам был еле виден. Это был деревенский мальчик лет пятнадцати, ростом выше нас всех. Волосы у него были подстрижены в кружок, как у сельского певчего; вид степенный и очень смущенный. Хотя он был неширок в плечах, но зеленый суконный пиджачок с черными пуговицами явно жал ему в проймах. Из обшлагов высовывались красные, неприличные к перчаткам руки. Из-под высоко подтянутых

на помочах панталон желтоватого цвета виднелись синие чулки. Башмаки были грубые, плохо вычищены, подбиты гвоздями.

Начали спрашивать уроки. Новичок ловил каждое слово и слушал внимательно, точно проповедь в церкви, не смея ни облокотиться, ни заложить ногу за ногу. В два часа, когда зазвенел колокольчик, воспитателю пришлось позвать его: сам он не стал с нами в пары.

У нас был обычай, входя в класс, бросать каскетки на пол, чтобы поскорее освободить руки. Кидать каскетку полагалось еще с порога, старались швырнуть ее под лавку и о стену, чтобы поднять побольше пыли. Такова была наша *манера*.

Но то ли новичок не заметил этого приема, то ли не посмел повторить его за нами, во всяком случае молитва уже давно кончилась, а он все еще держал свою каскетку на коленях. Это был сложный головной убор, соединявший в себе элементы и гренадерской шапки, и уланского кивера, и круглой шляпы, и мехового картуза, и ночного колпака, — словом, одна из тех уродливых вещей, немое безобразие которых так же глубоко выразительно, как лицо идиота. Яйцевидный, распыленный на китовом усе, он начинался ободком из трех валиков, похожих на колбаски; дальше шел красный околыш, а над ним — несколько ромбов из бархата и кроличьего меха; верх представлял собою что-то вроде мешка, к концу которого был приделан картонный многоугольник с замысловатой вышивкой из тесьмы, и с этого многоугольника спускался на длинном тоненьком шнурочке подвесок в виде кисточки из золотой канители. Каскетка была новенькая, с блестящим козырьком.

— Встаньте! — сказал учитель.

Новичок встал, каскетка упала на пол. Весь класс захохотал.

Новичок нагнулся и поднял каскетку. Сосед подтолкнул ее локтем, она упала; он поднял ее еще раз.

— Да отделайтесь вы от своей каски! — сказал учитель: он был человек остроумный.

Школьники так и покатались со смеху, а бедный мальчик совсем растерялся и уже не знал, держать ли ему каскетку в руке, бросить ли ее на пол, или надеть на голову. Наконец он сел и положил ее на колени.

— Встаньте, — повторил учитель, — и скажите, как ваша фамилия.

Новичок, запинаясь, пробормотал что-то совершенно неразборчивое.

— Повторите!

Снова послышалось бормотанье, заглушенное хохотом и улюлюканьем всего класса.

— Громче! — закричал учитель. — Громче!

И тогда новичок непомерно широко разинул рот и с отчаянной решимостью, во все горло, словно он звал кого-то, кто был далеко, завопил: «Шарбовари!» Оглушительный шум поднялся в ту же секунду и все нарастал мощным *crescendo** со звонкими выкриками (мы ревели, выли, топали ногами, беспрестанно повторяя: «Шарбовари, Шарбовари!»), потом он распался на отдельные голоса и никак не мог улечься, то и дело пробегая по всему ряду парт, вспыхивая там и сям приглушенным смешком, словно не до конца погасшая шутиха.

Но вот под градом наказаний понемногу восставился порядок, и учитель наконец разобрал слова:

* Музыкальный термин, означающий постепенное усиление звучности (*итал.*).

«Шарль Бовари», заставив новичка продиктовать себе это имя, произнести его по буквам и вновь перечитать, а затем приказал бедняге сесть на «скамью лентяев» у самой кафедры. Новичок двинулся с места, но тут же в нерешительности остановился.

— Что вы ищете? — спросил учитель.

— Кас... — робко начал было новичок, озираясь вокруг беспокойным взглядом.

— Пятьсот строк всему классу.

Этот яростный окрик, подобно грозному «Quos ego!»*, остановил новый взрыв.

— Да успокойтесь же наконец! — с негодованием добавил учитель и, вытащив из-под шапочки платок, отер пот со лба. — А вы, новичок, двадцать раз письменно проспрагуете «ridiculus sum»**.

И более ласковым голосом сказал:

— Ну, найдется ваша каскетка. Никто ее не украл.

Наконец наступила полная тишина. Головы склонились над тетрадами, а новичок просидел все два часа в самой примерной позе, хотя время от времени ему и попадали в лицо ловко пущенные с кончика пера шарики жеваной бумаги. Но он только отирал рукой брызги и продолжал сидеть совершенно неподвижно, опустив глаза.

Вечером, когда пришло время готовить уроки, он вынул из парты нарукавники, разобрал все свои вещи, тщательно разлиновал бумагу. Мы глядели, как добросовестно он работал, старательно проверяя все по словарю. Должно быть, только благодаря этому неподдельному усердию он и не остался в младшем классе: грамматические правила он знал неплохо, но в оборотах его речи

* Вот я вас! (лат.)

** Я смешон (лат.).

не было никакого изящества. Жалея деньги, родители постарались отдать его в коллеж как можно позже, и начаткам латыни он учился у деревенского священника.

Отец его, отставной военный фельдшер, г-н Шарль-Дени-Бартоломе Бовари около 1812 года скомпрометировал себя в какой-то истории с рекрутским набором, был вынужден покинуть службу и воспользовался своими личными качествами, чтобы мимоходом подцепить приданое в шестьдесят тысяч франков, которое давал за дочерью владелец шляпного магазина. Девушка влюбилась в его фигуру. Красавец-мужчина и краснбай, он звонко щелкал шпорами и носил усы с подусниками; на пальцах у него всегда сверкали перстни, одевался он в яркие цвета и вид имел самый бравый, отличаясь при этом живостью и развязностью коммивояжера. Женившись, г-н Бовари два-три года проживал приданое: хорошо обедал, поздно вставал, курил длинные фарфоровые трубки, каждый вечер бывал в театре и часто ходил в кафе. Потом тесть умер и оставил сущие пустяки; г-н Бовари вознегодовал, увлекся *фабричным производством*, чуть не разорился и удалился в деревню, чтобы здесь себя проявить. Но так как в земледелии он понимал не больше, чем в ситцах, так как лошадей он отрывал от пахоты и катался на них верхом, а вместо того чтобы продавать сидр бочками, сам пил его бутылками; так как лучшую птицу своего птичника он съедал, а салом своих свиней смазывал охотничьи сапоги, то вскоре ему пришлось убедиться, что рассчитывать на хозяйство не приходится.

И вот за двести франков в год он снял в одной деревушке, на границе Ко и Пикардии, нечто среднее между фермой и барской усадьбой и сорока пяти лет от роду засел там, снедаемый тоской и досадой, ропща на бога

и завидуя всем на свете. Он говорил, что разочаровался в людях и решил доживать век на покое.

Жена когда-то была от него без ума. Она любила его рабски, и это только отдаляло его от нее. Смолоду веселая, оживленная и любящая, она с годами стала раздражительной, плаксивой и нервной: так вино, выдыхаясь, превращается в уксус. Сколько выстрадала она, не жалуясь, в первое время, когда муж бегал за каждой деревенской девчонкой, а по вечерам приходил домой из каких-то притонов, — приходил пресыщенный, пропахший вином! Но потом в ней пробудилась гордость. Тогда она умолкла, затаила злобу и замкнулась в немом стоицизме, который хранила до самой смерти. Вечно она была в бегах, в хлопотах. Это она ходила к адвокатам, к председателю суда, она помнила сроки векселей, добивалась продления; дома она гладила, шила, стирала, следила за работниками, расплачивалась по счетам. А в это время ее супруг, ни о чем не заботясь и постоянно пребывая в брюзгливой полудремоте, которую он прерывал только для того, чтобы говорить жене неприятности, спокойно сидел у камина, покуривая трубку и сплевывая в золу.

Когда у г-жи Бовари родился ребенок, его пришлось отдать кормилице. Когда же мальчугана взяли снова домой, то стали баловать, как маленького принца. Мать закармливала его сладостями, отец позволял ему бегать босиком и даже, изображая из себя философа, говорил, что он мог бы ходить и совсем голым, как ходят детеныши животных. Наперекор нежным заботам матери отец выдумал какой-то мужественный идеал детства, согласно которому и пытался развивать сына. Ему хотелось воспитывать мальчика сурово, по-спартански, закалить его здоровье. Он заставлял его спать в нетопленной комнате, приучал пить большими глотками ром и издеваться над

религиозными процессиями. Но смирный от природы мальчик плохо вознаграждал отцовские усилия. Мать повсюду таскала его за собой, вырезывала ему картинки, рассказывала сказки, изливалась перед ним в нескончаемых монологах, исполненных грустного веселья и болтливой нежности. В своем вечном одиночестве она перенесла на ребенка все свои разбитые, рассеянные жизнью честолюбивые мечтания. Она придумывала для него высокие посты, он грезился ей взрослым, красивым, остроумным, отлично пристроенным в ведомстве путей сообщения или в суде. Она выучила его читать и даже петь два-три романса, аккомпанируя себе на стареньком фортепиано. Но г-н Бовари об учености заботился мало и говорил, что *все это ни к чему*. Разве у них когда-нибудь хватит средств, чтобы содержать сына в казенной школе, купить ему должность или торговое дело? К тому же *дорогу и так всегда пробить можно — только не плошай*. Г-жа Бовари молчала, закусив губы, а ребенок бегал по деревне.

Он уходил с работниками на пашню, гонял ворон, швырял в них комьями земли. Он рвал по оврагам тутовые ягоды, пас с хворостиной индюшек, ворошил сено, бегал по лесу, играл в дождливые дни на крытой церковной паперти в «котел», а по праздникам выпрашивал у пономаря разрешение позвонить в колокол и, повиснув всем телом на толстой веревке, уносился с нею в полете.

Так рос он, словно молодой дубок. У него были крепкие руки и румянец во всю щеку.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, мать добилась, чтобы его начали учить. Это дело поручили священнику. Но уроки были так коротки и нерегулярны, что толку от них оказалось немного. Давались они урывками, когда выпадало время, в ризнице, стоя и наспех, в свободные минуты между крещениями и погребениями,

а иногда кюре посылал за учеником после вечерней службы, — в том случае, если ему никуда не надо было идти. Он поднимался с мальчиком в свою комнату, оба усаживались за стол; мошки и ночные бабочки носились вокруг свечи; было жарко, дремота одолевала ребенка, а добродушный старик начинал похрапывать, разинув рот и сложив руки на животе. Иной раз господин кюре, возвращаясь со святыми дарами от какого-нибудь больного, замечал расшалившегося мальчика в поле. Он подзывал Шарля, читал ему длинное нравоучение и, пользуясь случаем, предлагал тут же, под деревом, проспрягать латинский глагол. Вскоре неожиданная встреча или начавшийся дождь прерывали урок. Впрочем, учитель был всегда доволен учеником и даже говорил, что у этого юноши отличная память.

Так дальше продолжаться не могло. Г-жа Бовари проявила большую настойчивость. Г-н Бовари, пристыженный или, скорее, утомленный, уступил ей без сопротивления, и с первым причастием мальчугана решили подождать еще год.

Прошло шесть месяцев, и в следующем году Шарля наконец отдали в руанский коллеж. В конце октября, во время ярмарки на святого Ромена, отец лично отвез его туда.

Сейчас никто из нас ничего не мог бы вспомнить о Шарле Бовари.

Это был мальчик уравновешенный: на переменах он играл; когда приходило время, готовил уроки; в классах внимательно слушал, в дортуаре крепко спал, в столовой ел с аппетитом. В отпуск он ходил к оптовому торговцу-скобянику на улице Гантери: тот брал его из коллежа раз в месяц, по воскресеньям, когда лавка была уже закрыта, и посылал на набережную погулять, поглядеть

на корабли, а ровно в семь часов, перед ужином, приводил обратно в училище. Каждый четверг Шарль писал вечером матери длинное письмо, писал красными чернилами и запечатывал тремя облатками; потом он выправлял свои тетради по истории или читал истрепанный том «Анахарсиса», валявшийся в комнате для занятий. На прогулках он разговаривал со служителем, который был, как и он, из деревни.

Благодаря прилежанию он всегда держался в числе средних учеников, а один раз даже получил первую награду по естественной истории. Но в конце третьего года обучения родители взяли его из коллежа, чтобы он изучал медицину: они были уверены, что степени бакалавра Шарль добьется собственными силами.

Мать нашла ему комнату на улице О-де-Робек, на пятом этаже, у знакомого красильщика. Она договорилась с хозяином о пансионе, раздобыла сыну мебель — стол и два стула, выписала из деревни старую кровать вишневого дерева и, сверх того, купила чугунную печурку с запасом дров, чтобы бедному мальчику не было холодно. И через неделю уехала домой, снабдив Шарля тысячью советов вести себя как следует, — ведь теперь он предоставлен самому себе.

Программа занятий, с которой Шарль познакомился, произвела на него впечатление ошеломляющее: курс анатомии, курс патологии, курс физиологии, курс фармации, курс химии, и ботаники, и клиники, и терапевтики, не считая гигиены и энциклопедии медицины. Он не знал происхождения этих слов, и каждое казалось ему дверью в некое святилище, исполненное величественного мрака.

Шарль не мог во всем этом разобраться. Сколько ни слушал он профессоров, до него не доходило ни слова. И все-таки он продолжал трудиться — завел толстые

тетради в переплетах, посещал все лекции, не пропускал ни одного медицинского обхода. Он выполнял свои скромные обязанности, словно рабочая лошадь, которая ходит с завязанными глазами по кругу и сама не знает, что делает.

Чтобы избавить сына от лишних трат, мать еженедельно посылала ему с почтовой каретой кусок жареной телятины. Этой телятиной он завтракал по утрам, вернувшись из больницы, и при этом, стараясь согреться, топал ногами. Потом надо было бежать на лекции, в анатомический театр, к больным и возвращаться домой через весь город. Вечером, после скудного обеда у квартирного хозяина, Шарль уходил к себе в комнату, снова садился за учение около докрасна раскаленной печурки, и пар поднимался от его отсыревшей одежды.

В погожие летние вечера, в час, когда улицы пустеют и служанки играют у ворот в волан, он распахивал окно и облакачивался на подоконник. Прямо под ним, между мостами и решетками набережной, текла река, то желтая, то лиловая, то голубая, превращавшая эту часть Руана в жалкое подобие Венеции. Кое-где у самой воды сидели на корточках рабочие и мыли руки. На жердях, высовывавшихся из чердаков, сушились мотки бумажной пряжи. А перед ним, над крышами, простиралось огромное безоблачное небо и заходило багровое солнце. Как, должно быть, хорошо на той стороне! Какая прохлада в буковых рощах! И Шарль раздувал ноздри, словно вдыхая милые деревенские запахи, которые до него не долетали.

Он похудел, вытянулся, лицо его приняло несколько грустное выражение и сделалось почти интересным.

Кончилось тем, что он совершенно естественно, по простой небрежности, изменил всем своим благим намерениям. Как-то раз он пропустил демонстрацию больного,

на другой день — лекцию и, наслаждаясь праздностью, понемногу совсем перестал ходить на занятия.

Он привык посещать кабачки, пристрастился к домино. Садиться каждый вечер в грязноватом зале питейного заведения и стучать по мраморному столу костяшками с черными очками казалось ему драгоценным актом независимости. От этого повышалось его самоуважение. Это было для него как бы вступлением в мир, первым прикосновением к запретным радостям; входя в кабачок, он брался за дверную ручку с наслаждением, — почти чувственным. И многое, что прежде было подавлено, распустилось в нем пышным цветом: он затвердил наизусть немало куплетов и пел их на дружеских пирушках, он проникся энтузиазмом к Беранже, научился делать пунш и, наконец, познал любовь.

Благодаря таким подготовительным занятиям Шарль с треском провалился во время выпускных экзаменов на звание санитарного врача. В этот самый день его ждали к вечеру дома, чтобы достойно отпраздновать успехи!

Он отправился домой пешком, остановился у околицы, послал за матерью и рассказал ей все. Она простила его, приписала провал несправедливости экзаменаторов, взялась сама все устроить и немного подбодрила сына.

Отец узнал истину только через пять лет; она успела потерять остроту, и г-н Бовари примирился с нею. Впрочем, он никогда не мог бы представить себе, что его отпрыск оказался тупицей.

Итак, Шарль снова принялся за работу и, уже не отрываясь, готовился к экзаменам. Он выучил все вопросы программы наизусть и получил довольно хорошие отметки. Какой прекрасный день для матери! Дома устроили званный обед.

Где же ему теперь применять свое лекарское искусство? В Тосте! Там был всего один врач, да и тот старик. Г-жа Бовари давно поджидала его смерти, и не успел еще добряк убраться на погост, как Шарль уже поселился на-против его дома в качестве преемника.

Но воспитать сына, дать ему медицинское образование и найти город Тост, где он мог бы применять его на деле, — это еще далеко не все: молодому человеку нужна была жена. И мать подыскала ему невесту — вдову судебного пристава из Дьеппа, женщину сорока пяти лет, но с годовым доходом в тысячу двести ливров.

Хотя г-жа Дюбюк была безобразна, суха, как палка, и вся прыщеватая, недостатка в женихах у нее не было. Чтобы добиться своей цели, г-же Бовари пришлось всех устранить: она ловко расстроила даже происки одного колбасника, которого поддерживали священники.

Шарль думал, что брак улучшит его положение; он воображал, что станет свободнее, будет сам располагать собою и своими деньгами. Но супруга прибрала его к рукам; ему пришлось взвешивать на людях каждое свое слово, поститься по пятницам, одеваться по жениному вкусу, донимать по ее приказу тех пациентов, которые задерживали плату. Жена распечатывала его письма, следила за каждым его шагом и, когда он принимал больных женщин, подслушивала у перегородки. По утрам ей непременно нужен был шоколад, каждую минуту требовались бесконечные знаки внимания. Она постоянно жаловалась то на нервы, то на боль в груди, то на плохое самочувствие; шума шагов она не выносила. Муж уходил — ее терзало одиночество; муж возвращался — уж конечно, он хотел полюбоваться картиной ее смерти. Вечером, когда Шарль приходил домой, она вытаскивала из-под одеяла свои длинные тощие руки, обнимала его

за шею, заставляла сесть к ней на кровать и принималась изливать свои горести: он ее забыл, он любит другую! Ей предсказывали, что она будет несчастна!.. И кончала неизменной просьбой: немного какого-нибудь лечебного сиропа и чуть-чуть побольше любви.

II

Однажды ночью, около одиннадцати часов, супругов разбудил конский топот. Лошадь остановилась у самого крыльца. Служанка открыла на чердаке слуховое окошечко и вступила в переговоры с верховым, стоявшим внизу, на улице. Он приехал за доктором; у него было с собой письмо. Настази, дрожа от холода, спустилась по лестнице и стала отпирать замки, отодвигать засовы. Приезжий слез с лошади и, следуя за служанкой по пятам, вошел в спальню. Вытащив из шерстяной шапки с серыми кистями завернутое в тряпочку письмо, он почтительно передал его Шарлю. Тот оперся локтем на подушку и принялся читать. Настази стояла со свечкой у самой кровати. Барыня, застыдившись, повернулась к стенке, спиной к постороннему.

Письмо было запечатано маленькой печатью синего сургуча. В нем г-на Бовари умоляли немедленно приехать на ферму Берто и помочь человеку, который сломал себе ногу. Но от Тоста до Берто — через Лонгвиль и Сен-Виктор — было добрых шесть лье. Ночь стояла темная, хоть глаз выколи. Г-жа Бовари-младшая боялась, как бы с мужем не случилось чего по дороге. Поэтому было решено, что конюх, привезший письмо, отправится вперед, а Шарль поедет через три часа, когда взойдет луна.



Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Проза:

